

# ЖАБОТИНСКИЙ — КОРРЕСПОНДЕНТ "ОДЕССКИХ НОВОСТЕЙ"

В лице Владимира Жаботинского еврейство обрело крупного теоретика и "осуществителя" идеи сионизма, а русская литература и европейское языкознание потеряли замечательного писателя и выдающегося языковеда. По поводу второй утраты И. Штейнберг (автор иврит-русского словаря), узнав, что Жаботинский владеет более чем десятком языков, воскликнул: "Молодой человек, оставьте своих сионистов и прочую чепуху и отдайтесь языкам. Я вам гарантирую, что вы станете первым языковедом Европы". Как известно, молодой человек не внял этому призыву: он уже ощущал себя призванным под другие знамена — бело-голубые знамена возрождаемого Государства Израиль.

Что же касается потери первой — литературной, то сегодня стали общеизвестными слова Осоргина о Жаботинском, отзывы других литераторов о его классических переводах По и Бялика. Менее известны другие отзывы. Например, прочитав раннюю комедию Жаботинского "Чужбина", Горький писал знаменитому еврейскому адвокату Оскару Грузенбергу: "...Превосходное произведение, и вообще Жаботинский удивительно интересный человек... его комедия взволновала меня до глубины души". Иосиф Недава, израильский исследователь творчества Жаботинского, приводит в своей книге слова Куприна: "У него врожденный талант, он может вырасти в орла русской литературы, а вы (сионисты — О. К.) украли его у нас, просто украли... Боже мой, что вы сделали с этим молодым орлом? Вы потащили его в еврейскую черту оседлости и обрезали его крылья". Чуковский назвал Жаботинского "самым талантливым" из людей, встреченных в юности, и был уверен, что его ожидает широкая литературная дорога...

У сегодняшнего читателя, уже знакомого с сочинениями Жаботинского, может возникнуть вопрос: а нуждается ли его литературная репутация в таких авторитетных "подпорках", не говорят ли его книги сами за себя? Мне представляется, что нуждается, и вот почему.

Биографы Жаботинского в перечне его дарований и достоинств обычно редко упоминают (если совсем не избегают разговора) о его литературных заслугах. Это может быть объяснено тем, что все известные (мне известные) на сегодняшний день биографии Жаботинского написаны в Израиле, и жизнь Владимира Евгеньевича Жаботинского в них увидена как жизнь Зеева Жаботинского глазами еврейских авторов. Понятно, что взгляд из "страны победившего сионизма" будет отличным от взгляда из "города — колыбели сионизма" (а разве не подходит это название к Одессе, родине Леона Пинскера и Владимира Жаботинского?).

Посвятивший большую часть жизни борьбе за свою историческую родину, Жаботинский никогда не отказывался от другой (вернее, первой) родины — Одессы. Создатель еврейского легиона (и книги о нем) присягнул на верность легендарной палестинской Аркадии, стране будущего счастья евреев. Но и создатель романа "Пятеро" присягнул на верность реальной одесской Аркадии, оставшейся в прошлом счастливой страной своей юности...

Русская культура, русская литература, впитанная им в одесской юности, питала его Музу в зрелости. И хотя между двумя этими эпохами его жизни — громадный промежуток, заполненный деятельностью, казалось бы, бесконечно далекой от нужд русской культуры, но кто решится утверждать, что они не связаны, что вторая не оглядывается на первую, что первая не питает вторую?

Уже выбором литературного имени Владимир Жаботинский отсылал читателей к родной — русской — литературе. И к литературной родине — к Одессе.

Мне кажется, что если бы биография Жаботинского писалась в Одессе, она началась бы главой о Жаботинском-литераторе. А эта глава, конечно, должна была бы начинаться рассказом о Жаботинском-одессите. Одесса Владимира Жаботинского — это прежде всего Одесса романа "Пятеро" (написанного в Европе в 30-е годы) и Одесса фельетонов в одесских газетах начала века. Собранные в книгу, эти фельетоны (а их несколько сотен) могли бы составить тоже своего рода "повесть об Одессе", и интересно было бы "поверить" одной книгой другую...

Иначе было с Жаботинским. Сегодня мы присутствуем при процессе "репатриации" его книг на родину. Нет, не на ту родину — в Государство Израиль — куда он так стремился всю жизнь, да так и не попал и куда его прах был перенесен спустя 24 года после смерти. А на ту, откуда ведут происхождение идеи его сионизма и мотивы, сюжеты, образы его книг. Поэтому нам особенно интересно сегодня прочесть его ранние фельетоны — разве не из них вырастает роман "Пятеро", разве не их отблески можно увидеть в "Самсоне Назорее", других книгах Жаботинского?

*Публикуемые сегодня (с сокращениями) фельетоны впервые были напечатаны в "Одесских новостях" в 1902 — 1903 г. г. под псевдонимом Altalena.*

Ольга КАНУНИКОВА.

В планах Всемирного клуба одесситов издать 4-й том сочинений В. Жаботинского — его публицистику.



## Владимир ЖАБОТИНСКИЙ

7 мая 1903 года

### НЕ О ЮБИЛЕЕ ПЕТЕРБУРГА

Вчера в Петербурге праздновали юбилей, и поэтому во всей России, вероятно, много думали и говорили о Петербурге. Это дает мне право не писать сегодня о Петербурге, а писать о других городах, в частности, нашем городе. Ибо в самом деле, что сказать о Петербурге? Город-молодец, нечего и говорить.

В Костроме, в Умани, в Богородске являлись на свет умные люди или даровитые люди, съезжались в Петербург, и выходило так, что ум и талант происходят не из Умани или Богородска, а как будто из Петербурга. И так оно шло благополучно двести лет. Двести лет Россия со всех концов отправляла лучшие свои соки в одно место, и получалось такое впечатление, что это место весьма богато соками. Двести лет такой карьеры — счастье не из дюжинных. Есть с чем поздравить. И поздравляем от всего сердца. Но к поздравлениям иные прибавляют и пожелания: "Дай, мол, Б-г, чтобы и впредь так же"... А иные не прибавляют пожеланий. Как думаете вы, одесситы: прибавите ли к поздравлениям пожелание "впредь того же"? Сомневаюсь...

Но я, собственно, хотел писать о нашем городе. Позавчера выпал довольно ясный день и недурная звездная ночь. Я много гулял и усиленно вдыхал запах акации. Я родился и вырос в Одессе. Место, где мы родились, не всегда есть наша родина. Моя историческая родина не на этих берегах; но я всегда очень любил Одессу и даже когда покинул ее, не разлюбил. Четыре года подряд я не слышал запаха акации; и когда он случайно доносился до меня из-за ограды какого-нибудь сада, я вспоминал Одессу и умилялся душой. Однажды я купил за 4 франка бутылку духов "Акация" и каждое утро брызгал себе на платок и вспоминал Одессу.

Третьего дня, наконец, после четырех лет, я снова досыта надышался ароматом акации и, вдыхая его, вдруг почувствовал и вспомнил в полном объеме всю мою любовь к Одессе, всю любовь, которую события заслонили, но не задушили. Вспомнил любовь и замечался о будущем этого города. Я часто мечтаю о будущем его. И прежде мечтал, и теперь, хотя и жду нетерпеливо мгновения покинуть его, тоже мечтаю.

Петербург, конечно, умный город, хороший город. Пошли ему судьба всякое благо, и

пусть он навеки будет умным и хорошим городом. Но пусть платит за это из своего кармана, а не из нашего. Не отдавайте ему больше ваших хороших и умных людей. Оставьте их у себя.

Вокруг Одессы огромный район, величинной с доброе государство Западной Европы. Этот район тяготеет к ней и видит в ней свой естественный центр. Этот район достаточно огромен для того, чтобы требовать себе центра первоклассного, заправского, а не второстепенного, с обстановкой второго сорта. Большой и богатый район имеет право требовать, чтоб в его естественном районном центре людям подавалась свежая и полноценная пища, а не объедки с таблоэта столицы. Провинциальным центрам пора опомниться, и честь и слава будет тому из них, который опомнится первый и покажет пример другим. Провинция должна дорожить местными силами и лелеять их, чтоб не потерять. Провинция должна страстно поддерживать все, что хоть на йоту повышает культурную деятельность района.

Провинциальные деятели — гласные, журналисты, благотворители — жалуются на мелкоту интересов:

— Разбирается в том, урезал или не урезал домовладелец Кукиш пол-аршина городской земли...

— Писать о том, что Петров с Ивановым потаскали друг друга за волосы; или давать рецензии о третьестепенной труппе...

— Распространять носовые платки между уличными мальчишками, которые все равно не станут утирать носа...

Да, все это скучновато. Но осветите все это одной идеей, и оно оживится и блеснет совсем иначе. Осветите ваше дело идеей эмансипации провинциального центра. Скажите себе:

— Не должны мы быть пригородом у столицы, а должны быть сами по себе.

И вы почувствуете почву под ногами и добрую глину в руках. Журналист увидит перед собой дорогу трудную, но заслуживающую труда. До сих пор он говорил в газете о художнике таком-то потому, что брат художника — его приятель. Оттого не вникал в дело и не старался быть справедливым. Но теперь для него этот самый художник стал дорог, как рабочий в его собственной мастерской, и оттого он пишет о нем иначе.

И благотворителем быть тоже скучно. Но осветите благотворительность той же идеей — и вы увидите разницу.

О муниципалитете, у которого в руках городские деньги, нечего и говорить. Осветите перед ним его деятельность этим новым зна-

чением — и уж он не согласится вычеркнуть кредит на школы и на городской ломбард и на эти деньги отремонтировать каланчу.

Жалуются люди, что нечего делать в провинции. Смешно. Дело есть, завидное и большое дело, достаточно трудное и достаточно прекрасное для того, чтобы мог его себе облюбовать энергичный человек; но беда, что людей мало, что большинство робеет или ленится, предпочитая плестись без усилий, куда ноги несут. Только была бы энергия, да поняли бы вы, провинциалы, что глупо, невыразимо глупо жить в постоялом дворе, когда можно — и средства есть — устроить перворазрядный отель.

Не учиться у столицы, не брать ее примером, а соперничать с нею независимо и самостоятельно.

Пусть себе навеселится вдосталь город Петербург своим вторым столетним юбилеем; vivat, crescat, floreat; но уж третьего юбилея такой исключительной, такой уродливой гегемонии над духовной жизнью России — не праздновать ему веки.

Баста.

18 сентября 1902 г.

### ЕГО ЗАСЛУГИ

Многих изумило, что Эмиль Золя вмешался в дело Дрейфуса.

Со стороны публициста это было бы вполне естественно. Со стороны поэта это было бы объяснимо, потому что поэт предполагается нервным и впечатлительным. Со стороны критика это было бы неожиданно, но допустимо, потому что, как бы то ни было, критику приходится иметь дело со злостью дня.

Но романист! И какой романист: автор эпопеи в двадцати тольстых книгах! Эти двадцать книг вызвали представление вовсе не о нервности или впечатлительности, но о самом что ни на есть кабинетном темпераменте. Публицист должен быть гражданином, поэт может им не быть, и критику не возбраняется. Но в романисте видеть активного гражданина как-то ни одна душа не ожидала.

И это было всего несправедливее именно по отношению к Золя. Потому что Золя давно, всю свою жизнь, каждой своей строчкой неустанно повторял: "Я гражданин". Есть поэты, которые не откликаются на злобу дня. Их называют жрецами искусства для искусства; это название неполно, потому что искусство всегда для искусства. Службное искусство немисливо. Но искусство — только фор-

ма, в которой предполагается содержание. И вот, есть поэты, умеющие облекать в ризы, тканые искусством, только такое содержание, которое не есть злоба дня. Прошло уже то время, когда мы думали, что у этих поэтов "чистого искусства" нет заслуги перед человечеством. Умирая, они оставляют потомству страницы, которым в течение десятилетий или даже веков предстоит служить большую социальную службу, питать эстетическую жажду человечества. Но Эмиль Золя не принадлежит к числу этих поэтов.

Он тоже был художником, истинным художником во всех фибрах своего существа. Он тоже никогда (я не говорю о последних его романах, вышедших после "Парижа", потому что они явно созданы не поэтом, а борцом) не подчинял своего вымысла мимолетным требованиям сегодняшней тенденции.

Но он всегда был гражданином. Он не коверкал жизни в угоду своему тезису, он отражал жизнь во всей ее гармонии. Но он подставлял свое зеркало всегда с тех сторон, к которым страстно приковано внимание современного интеллигентного человека. Его произведения дают одинаково богатый материал и художественному критику, и социологу. Он взял карандаш в руки и пошел по лазарету жизни. Язы его не пугали. Он останавливался перед ними и смело заносил их в свой альбом. И так он обошел все койки и все палаты этого огромного лазарета. И обо всем, что видел, рассказал человечеству, с потрясающей точностью, выпуклостью, жесткостью — со священной жесткостью хирурга или прокурора. Он ничего не забыл, он по всем клавишам ударил.

И перед глазами зрителей развернулась галерея, пестревшая всеми оттенками: от голодной нищеты до золотой роскоши, от аскетизма до последних извращений разврата, от подвига до гнусного преступления, от бездны позора до вершин почести. Вся колоссальная хроматическая гамма той клавиатуры, которая называется буржуазным обществом. И когда все это было сделано, Эмиль Золя обвинил в пессимизме. Если не в клевете. На обвинение в клевете он не отозвался, и не стояло. На обвинение в пессимизме он гордо ответил: "Нет оптимиста больше меня!".

Он был прав. Он ничего хорошего не ждал от общества, как оно скроено и шито ныне. Потому что оно извращает и коверкает человека совокупностью самых неестественных условий. Оно делает из здорового цельного человека однокорый обломок, половину человека, огрызок человека. Но Золя верил в будущую победу здорового цельного человека. От-

того у него с такой любовью, с таким триумфом и восторгом изображены все те моменты, когда свободная всевозрастающая сила жизни торжествует над путями предрассудков.

Наше время познало главную задачу прогресса в оздоровлении общества, в возрождении человека, исковерканного историей; наше время поняло, что этим возрождением, ради него и во имя его должны совершиться те перемены, которые мы уже предвидим и радостно торопим. И самым громким из проповедников этого оздоровления был Эмиль Золя. Воистину бессмертно имя и громадна заслуга этого человека. Потому что он пережил время большого шатания и сам не пошатнулся.

Посреди декадентов и эстетиков, посреди апологетов грязи, панегиристов гноя, Пиндаров болезненности, посреди всей этой вакханалии во славу лазарета Эмиль Золя непоколебим и громко призывает человечество к истокам чистого воздуха. Он учил и теперь учит красоте и величю жизни, истинной жизни, радостной, потому что здоровой, плодотворной, правдивой, трудовой.

Я не знаю смерти, к которой более подходило бы русское выражение "приказал долго жить". Это нам, наследному поколению, он приказал долго жить — долго жить и много работать для того, чтобы действительно некогда осуществилась, наконец, такая жизнь на земле.

13 марта 1903 года

## ВСКОЛЬЗЬ

Коллега Теофраст Ренодо рассказывает, что в Луврском музее оказалась поддельная реликвия — золотая тиара, будто бы найденная на раскопках в Крыму, а на самом деле кем-то нарочно сфабрикованная.

Но кем? Одни указывают на какого-то парижского художника, другие — на одессита, ювелира Рахумовского. Мой парижский коллега называет г. Рахумовского "легендарным г. Рахумовским". Но г. Рахумовский вовсе не миф, а живой человек и одессит. О нем не так давно писали в одесских газетах и печатили снимки с его ювелирных миниатюр: гроб со скелетом, какой-то барельеф и еще что-то.

Его ли рук дело эта луврская тиара, или нет — но факт тот, что у нас под боком живет оригинальный и бесспорно талантливый художник-самоучка, "одесский Бенвенуто Челлини", и... И добрые девять десятых нашей публики даже имени его не знают. В Европе такой человек жил бы в атмосфере всеобщего внимания. Устраивались бы выставки его работ. Публика ходила бы в его мастерскую, как ходят в картинную галерею. Газеты писали бы: "Он начал новый барельеф-миниатюру", "Он закончил художественную солонку в виде девочки с передником".

В Одессе — ничего подобного. Никто не слышал, никто не знает. Да один ли г. Рахумовский? Один из лучших художников нашего города — виртуоз-акварелист г. Л. — тоже представляет собой на три четверти миф даже для той публики, которая уже научилась ходить на южнорусские и передвижные выставки. Правда, есть в этом доля собственной вины: зачем самому художнику уклоняться от публики, от выставок?

Но в том-то и дело, что мы не Европа. В Европе не допустили бы талант вырвать из земли, вытащили бы попунализированную публику. А у нас равнодушие. Покажут — посмотрим, не покажут — не полюбопытствуем. Скверно...

28 марта 1912 года

## ВСКОЛЬЗЬ

### II.

#### Глядя со стороны

Когда-то я любил праздники всех народов. В Риме с большим треском обыкновенно справляют так называемый *Vefana* — "крещенский вечерок". На площади *piazza Navona* собирается масса народа разного сословия. У всех в руках дудки, погремучки, хлопучки, всякие штуки, производящие гром, шум, рев, стук, звон, свист, визг, писк, треск. Вдруг у вас под ногами взрывается шухиха и, как лягушка, начинает прыгать по мостовой среди обшего переполоха. Встречный фронт подносит руку к губам, надувает щеки — и вдруг из его руки вытаскивается наполненная воздухом длинная-длинная бумажная колбаса и с жалобным писком шлепается вашей даме в лицо. И так далее в этом роде; все очень глупо и удивительно забавно. И я все это в свое время проделывал самым точным, самым набожным образом. Так как я не итальянец, то и в юности не умел веселиться так беззастенчиво, как они, и мне минутами надоело швыряться конфетти и размахивать трещоткой. Но я держал себя в руках и добросовестно старался не отстать от людей, быть как все, дошлать до конца, пока не начнут расходиться.

Кроме того, у римлян есть еще один шумный праздник, и тоже такой, до которого мне, собственно, не было никакого дела: Сан-Джованни — Ивановская ночь. Они тогда собираются на громадной площади перед Латеранским собором и тут уже, пользуясь летним временем, кутят и веселятся всю ночь напролет. Приезжают целые семьи в каких-то рыдванах дико обличья или просто на тачках; иногда в тачку запрягают вола и в таком виде странствуют по площади. Звонят в глиняные колокола, бьют в барабаны; один раз на подводе от мебели въехали на площадь двенадцать господ, все с контрабасами. Это был концерт! Даже лошади пугались. Должен признать, что в числе этих двенадцати был я. Играть на контрабасе я не умею, но это и требовалось. Мои спутники, закончив концерт, сели закусывать улитками. Это специальное лакомство Ивальной ночи. Они называются *lumache*; они в сваренном виде красные, толстые, как сосиски, и плавают в сладком жиру. Это ужасно. Но я не отстал от приятелей и проглотил порцию улиток. Все во славу Сан-Джованни! Конечно, у меня и тогда уже была своя, совсем не католическая точка зрения на событие 29 августа 32 года, на Иоанна, Иродиаду и Саломею, а потому, значит, и на дату 24 июня. Но я тогда умел все это отбрасывать, а считался только с одним: у людей праздник, людям весело, ну и пусть; я за них очень рад и буду веселиться с ними. Когда у соседа горе, надо с ним погрузиться, когда радость — порадоваться.

Все наше поколение было так настроено, по крайней мере, то, которое выросло и воспиталось в нашем городе. Одесса очень своеобразный город; один из главных элементов ее своеобразия — отсутствие того, что называют "устоями". Это город новоселов, здесь очень трудно найти человека, чей отец и дед родились в Одессе; коренного населения здесь почти нет, поэтому не может быть и традиций, сложившегося быта, прочных привычек. В таком городе люди всегда несколько легкомысленны, поверхностны, несколько более гибки и покладисты, чем подобает джентльмену; правда, у них нет предрассудков, но зато нет и убеждений; душевный грунт у них очень рыхлый, не за что уцепиться, не в чем укрепить корни. У жителей такого города не может быть даже настоящего темперамента. На вид они как будто и горячие южане, кричат, размахивают руками, но, в сущности, кровь у них жидкая, они вспыльчивы, не обидчивы, не злопамятны, не умеют долго ненавидеть и не теряют головы, когда влюблены. С широкой социальной точки зрения, это не очень доброкачественный сорт людей, но для обиходного соседства он довольно удобен и, помоему, даже симпатичен. С такими людьми нетрудно ладить; даже если вчера вы их под пьяную руку поколотили, завтра можно будет мириться, достаточно помянуть пальцем. Они по природе ласковы, как ласковое теля, и, право, не из расчета или подхалимства, а просто так — за отсутствием сильных, поглощающих всю душу, ревнивых переживаний.

Но теперь еще примите во внимание ту эпоху, когда воспитывалось и формировалось поколение, о котором я говорю. Это была первая половина девяностых годов. Мы как раз тогда выходили из отрочества. Стоял апогей безвременья, не было ничего яркого ни в жизни, ни в литературе. Ничего похожего на общественное движение. Что-то делалось глубоко в подполье, но мы о том ничего не слышали; да здесь на юге и подполье в те годы опустело. Было так тихо и так скучно, что скука и тишина, в конце концов, даже хорошо действовали на нервы. В особенности на детские нервы. Наше поколение росло сравнительно спокойно, не знало никаких высших томлений духа. Мало читали, и читали все больше беллетристику. Кружков самообразования почти совсем не было; те, что возникали, скоро сами собою распадались. Зато подростки обоим пола охотно играли в фанты с поцелуями или просто в поцелуи без фантов. Это никогда не принимало болезненных форм. "Огарков" тогда не знали. Просто позволяли себе вольности, без дурного умысла, без жадности, не придавая всему этому большого значения. Словом, учились жить легко, без запинки, не вкладывая души ни во что слишком глубоко. Такова была атмосфера. Были в ней, пожалуй, и свои хорошие стороны. Теперь об этом трудно беспристрастно судить, потому что мы невольно теперь все сравниваем с поганым кошмаром, среди которого живем, и прошлое кажется от контраста гораздо лучше. Но, во всяком случае, такая атмосфера и в таком городе должна была в результате дать поколение безбидных и добродушных людей, ласковых на все стороны и готовых праздновать с кем угодно его праздники.

Так мы относились и к русской Пасхе. Тогда племенная рознь культивировалась официально, но в обществе она дремала так же мирно, как и все прочие социальные импульсы. Даже начальство, зазевавшись, иногда забывало о ней. У нас в прогимназии я числился дискантом и пел в хоре все молебны, в том числе и на Пасхе. До сих пор еще помню, как нас учили петь по-гречески: "анести эк некрон, фанато фанатон патисас ке тис эн тис мнимаси зоиин харисаменос". И это никого не

смущало — ни инспектора, ни хормейстера, бывшего семинариста Прошку, ни других дискантов, ни меня. Евреи приносили в класс на Пурим полные ранцы гаменаухи, на свою Пасху — мацу — и угощали русских; зато один соученик всегда сберегал для меня кусок кулича и приносил после каникул в класс (теперь он жандармский ротмистр). И долго еще после того я любил, когда случалось быть весной в Одессе, потолкаться в пасхальную ночь на Соборной площади. Так приятно было чувствовать, что у многих тысяч людей легко и светло на душе, что они идут домой совершать хорошие, красивые, наивные, чистые, глубокие обряды; забывалось, что это не мои обряды, вообще не шла в голову мысль о моем и твоём. Им радостно? И слава Богу, я тоже за них рад. Как теперь помню это ощущение, хотя уже давно его не переживал и никогда больше не испытаю. В последний раз это было ровно десять лет тому назад, весной 1902 года. Через год после того, в ночь на 7-е апреля в 1903 году, я уже не пошел на Соборную площадь. На другой день к вечеру стали приходить телеграммы из Кишинева.

С тех пор все пошло по-другому. Профессор Сикорский, ученый из Киева, произвел химический анализ мацы и установил, что в состав этого продукта входит кровь православных малышей. Состав гаменаухи профессор еще не установил, но если прикажут — не замедлит, и невозможно предугадать, какие тогда откроются горизонты. Во всяком случае, мне говорили знакомые гимназисты, что товарищи-христиане из маленьких теперь не только не просят у них мацы, но и брать не хотят, а косятся и отплевываются. Перед еврейской Пасхой в Киеве распространяют специальную воззвание: Христиане, такого-то числа начинаете ихний Песах — берегите своих детей! И, должно быть, не одна молодая мещанка, нянча на груди первое дитя, в святой простоте своей верит и содрогается: как бы не влез ночью в окошко некто черный, горбоносый, пейсатый в белом талесе, не украл бы ее сокровищ, не унес бы в свой вертеп, чтобы там замучить и выпедить кровь... О, святая простота! Это о тебе сказано мудрое слово, что ты "хуже воронства" — опаснее всякого злодеяния. А с другой стороны, когда подходит русская Пасха, начинают дрожать евреи. В эту форму вылилось теперь у нас участие в праздниках друг друга. Весело!

Жаль ясного прошлого, сказал бы я, если бы слово "жалее" не потеряло смысла. Так случилось, так сложилось, значит, иначе нельзя. Люди умнеют, по крайней мере, в том смысле, что становятся все больше себе на уме; это называется прогресс, и это совершается само собою, неуклонно, непредотвратимо. Вымирает святая простота — но не та, которая верит в бабая и в черных пейсатых кровоедов, а та, которая лежит в основе широкой природы и любит целоваться добродушно с другом и с недругом. Радоваться празднику соседа — собственно, ведь и это была святая простота. Это было неумение дифференцировать, ограничивать, отличать, свойственное детям и дикарям. Так, говорят, старый бур Крюгер, наполювину дитя, наполювину дикарь, пришел освятить синагогу в Иоганнесбурге, снял шляпу и сказал: во имя святой Троицы освещаю эту синагогу. И никто не рассердился, все поняли, что синагога действительно освята, ибо что более свято, чем вера дикаря и ребенка? Но дикари цивилизуются, а дети вырастают, и это называется прогресс. Лучше ли от того становятся те и другие, это вопрос старый, премудрый и бесполезный. От Руссо до Толстого никто не мог его решить. Бросим его. Нет никакого "лучше", ни "хуже", нечему радоваться и не о чем жалеть. Все равно как не повторяется школьная дружба и первая любовь, так не вернется простодушное, беззлобное чувство ясной радости за ближнего, у которого праздник.

Или, быть может, оно еще вернется — когда-нибудь, через много лет, когда мир и эта земля будут переустроены по-новому. Тогда вымрет давно поколение ласковых, безбидных, добродушных людей, готовых улыбаться от чистого сердца на все стороны. Но здесь будут жить тогда гордые, суровые, ревнивые народы; каждый из них будет строить свою башню и зорко сторожить свое богатство, и будут они уважать и бояться друг друга, и оттого будут доверять друг другу, как в старину доверяли один могучий рыцарь другому. В их среде не будет старшего и младшего, но каждый из них будет в собственных глазах старшим, избранным народом. И тогда, быть может, они снова научатся веселиться на празднике соседа, но не как ласковые телята, и не как хлебники чужой культуры, у которых ничего своего за душой не осталось, а как важные, почетные, желанные гости, которые явились почтить своим приходом чужую радость и через час уйдут к себе, под собственную кровлю, и в свой праздник будут ждать ответного визита.

Ваш покорный слуга тоже любит помечтать, и тоже на тему о братстве и мире. Только по-другому.

17 марта 1905 года

## ВСКОЛЬЗЬ

### III.

#### Два предателя

На суд Господу привели ангелы двоих смертных, которые были когда-то людьми на земле.

Один из них был ростом мал и тщедушен видом, и глаза его тревожно поглядывали туда и сюда; другой же был сед и благообразен, и от лица его исходила спокойная кротость. Долго смотрел на обоих проникающим взором Вседержитель, и потом повелел первому:

— Расскажи нам, как провел ты свои дни на земле.

Тогда повергся тщедушный у подножия Престола и бил себя в грудь, извиваясь, и возопил воплем одержимого:

— Я был доносчиком на Твоей земле, Господи! Я прятался под окнами и подслушивал голоса людей в те часы, когда они себя мнили наедине и открывали друг перед другом сердца; я передавал их речи врагам их, и многие через меня приняли крестную муку; а я получал за то сребреники, цену моего дела, и корчил этим серебром моих детей. Я был доносчиком, Господи!

И был тщедушный, и корчился у подножия престола; а Всевышний отвратил взор от него и сказал:

— Имя тебе — предатель.

И обратился к другому: И повелел:

— Расскажи нам, как ты жил на земле.

И поник благообразный тихо и достойно, и был его голос полон скорби и кротости, и отвечал он:

— Я прожил свой век на земле Твоей, Господи, и никому не сотворил зла.

Тогда потемнел лик Всевышнего, и раздался его слова:

— Здесь ли, перед лицом ли Бога твоего хочешь ты лгать, дитя человека? Ибо вот ты говоришь: я прожил век и не сделал зла никому, — а я знаю, что не может ни один человек привествовать вечер на земле, не сотворивши злого дела в течение дня. Я Бог твой, Судия и Ревнитель, но и Я тоже, если бы сошел человеком на землю, не сохранился бы чист от зла; как же ты, смертный, кичишься безгрешностью перед очами Повелителя?

Было кротко и скорбно лицо благообразного, и в голосе его звучала покорность и достоинство, и он ответил:

— Истинно говорю Тебе, Владыка, я прожил век и никому не сотворил зла на Твоей земле.

И вновь стали пасмурны взоры Божьи, — и, обратясь к ангелам, так повелел Господь:

— Вы, посланники, ведущие книгу жизни этого человека, выступите и уличите.

Но выступили ангелы, и преклонились у подножия Престола, и сказали:

— Прав этот смертный, Господи, ибо нет за ним злого дела в книге жизни его.

И возгласил Всевышний:

— Дивно!

И, по недолгом молчании, обратился к отвечающему и повелел:

— Расскажи нам о жизни твоей на земле.

И так повествовал человек:

— Во всю жизнь мою, Господи, я не знал ни мгновения мира; гнали и мучили меня близкие и далекие, но я никому из них не пожелал зла. Когда ввергли меня безвинно в темницу, я укрепил сердце мое надеждою на твое милосердие и никого не проклял; когда ограбили меня, я протянул руку во имя Твое за подаянием — и никого не проклял; когда посетил меня гнев молнии небесной, я горько заплакал над пожарищем моего дома и над холодными трупами детей — и никого не проклял. И вчера, когда я умирал, голодный, под забором, вокруг шировали и ругались надо мною притеснявшие меня; но и тогда я никому не пожелал зла и умер, никого не проклиная.

Долго молчал после того Всевышний и долго смотрел в кроткие и скорбные глаза старца, и многое таинственное было тогда написано во взоре Повелителя.

И прозвучало затем слово Господа:

— Имя тебе — предатель.

Тогда побледнело лицо того человека, и впервые загорелась искра негодования в глазах его; и, отступив, он возопил:

— Как, о Господи? Я безмолвно томился на земле, как убийца на пытке, ибо я верил, что Царь мой на небе воздаст мне за все мои муки единым словом благоволения; ты же клеймишь меня позорнейшим из имен. Во всю жизнь мою не познал я чувства гнева, Господи, но ныне трепещу гневом у подножия Твоего престола!

Был темен и полон пламени взор Вседержителя, и загремел голос его, подобно гулу многих землетрясений:

— Имя тебе — предатель. Вот лежит рядом с тобою брат твой, предававший за деньги, и корчится, и воеет неподобно человеку; ты же стоишь, кичливый и благообразный, и у Меня, у Царя над царями, требуешь ответа и отчета.